

СУЛАМИФЬ



Суламифь Мессерер

*Фрагменты
воспоминаний*



Суламифь Мессерер
**Суламифь. Фрагменты
воспоминаний**

«Спорт»

2005

ББК 85.335.42

Мессерер С.

Суламифь. Фрагменты воспоминаний / С. Мессерер — «Спорт», 2005

ISBN 5-94299-066-2

«Мадам Мессерер – феноменальная женщина... выдающийся, блестящий балетный педагог...» – писала Моника Мейсон, художественный руководитель Королевского балета Великобритании. Имя замечательной балерины и педагога Суламифи Мессерер (1908–2004) навсегда останется в истории русского и мирового балета. Прожив чуть менее века, она была свидетельницей многих событий двадцатого столетия, объездила весь мир, блистала на сцене и воспитывала следующие поколения талантливых артистов, пережила годы сталинских репрессий, личные трагедии, а на восьмом десятке лет решила круто изменить свою жизнь... О долгом и трудном пути, начавшемся в голодной Москве двадцатых годов и увенчанном признанием ее заслуг перед мировым балетом, о тонкостях ремесла педагога-балетмейстера и рассказывает Суламифь Мессерер в своих воспоминаниях, состоящих из четырех частей. В этой книге вниманию читателей предлагаются первые две части.

ББК 85.335.42

ISBN 5-94299-066-2

© Мессерер С., 2005

© Спорт, 2005

Содержание

Часть I	8
Глава 1	8
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Суламифь Мессерер
Суламифь
Фрагменты воспоминаний

© Netstream LTD, and affiliated companies, текст, 2005

© Наследники С. М. Мессерер, фото, 2005

© Музей Большого театра, фото, 2005

© М. А. Кривич, послесловие, 2005

© «Олимпия Пресс», оформление, издание, 2005

* * *



Мне хочется поблагодарить тех людей в разных частях света, без чьей поддержки и бесценной помощи я не смогла бы написать эту книгу. Прежде всего большое спасибо вам, мои дорогие А. А. Васильев (Париж), А. Э. Мессерер (Нью-Йорк), В. И. Уральская (Москва), Маргарет Уиллис (Лондон).

Автор



Часть I

Глава 1

Древо родословное. Первые шаги на пуантах

С детства я знала: Мессерер – это онемеченный вариант фамилии Мешойрер, что в переводе с древнееврейского значит «поэт», «певец».

Артистический смысл нашей фамилии открыл мне Михаил Борисович Мессерер. Мой отец.

Отец был человеком обширнейших знаний, почерпнутых им из книг. Мне в юности казалось, что он прочитал все книги на свете. И не только изданные по-русски, но и на других языках, причем иностранные книги часто читал вслух – он вырабатывал правильное произношение, педантично оттачивая каждый звук. Знал восемь иностранных языков. Помнится, ринулся учить на курсах английский, когда ему было уже под семьдесят: всегда мечтал прочитать Шекспира в подлиннике. Вскоре ему это удалось.

А с древнееврейским у него вообще был роман жизни. Двадцать два года отец составлял словарь иврита и даже подготовил текст к изданию, но во время какой-то московской облавы чекисты конфисковали испещренную странными значками рукопись: не шифр ли? На всякий случай рукопись уничтожили. Он долго не мог пережить такой удар – многолетний труд пропал, копий отец не делал.

Но не только звучание чужих наречий доносит моя память из детства. Непрестанный аккомпанемент тех лет – унылое жужжание, напоминающее полет сонной осенней мухи. Это работала бормашина.

С четырьмя детьми на руках, то есть далеко не в юном возрасте, папа покинул родной Вильно – точнее, еврейский район Антоколь в Вильно, чтобы выучиться на зубного врача в Харькове. Экстерном сдал экзамены в гимназии, окончил, опять же экстерном, Харьковский университет и получил диплом зубного врача, завоевав право в 1904 году вырваться из черты оседлости и перевезти семью из Вильно в Москву – настоящее свершение для еврея в то время!

В годы черносотенных погромов в России жестко блюли так называемую черту оседлости – изобретение царского правительства, с помощью которого оно утрамбовывало «лиц иудейского вероисповедания» в установленных «географических зонах». Своего рода предтеча нацистских гетто.

Вырваться оттуда удавалось только редким счастливым. Два года спустя, в 1906-м, Юрий Файер, позднее выдающийся дирижер Большого театра, не мог добиться разрешения жить в Москве. А ведь шестнадцатилетнего Файера тогда уже приняли в консерваторию, и та ходатайствовала за него перед московским градоначальником.

Но градоначальник отказал: еврей-скрипач в Первопрестольной? Нет уж, пусть себе играют в положенных им местах! Файеру пришлось подписать обязательство покинуть Москву в 24 часа. Неделями он спал в обнимку со своей скрипкой на вокзалах. И не помоги московский актер Федор Горев, остался бы главный театр страны без замечательного дирижера, а я – еще и без доброго друга и соседа по дому в Щепкинском проезде, что прямо позади Большого.

Горев придумал невообразимое – усыновить еврея Файера! И бестрепетно сделал это.

Горев – человек по мне!

Мой отец же сам разорвал черту оседлости, привез семью и дело «с чего им жить» в Белокаменную. В Москве – новые довольные пациенты, новые литературные издания, каких не достать в Вильно. Ведь в ту пору нельзя было заказать их по интернету.

Однако из всех книг больше всего папу увлекала Книга книг, и имена особенно любимых им библейских героев он давал своему потомству. Так в нашей семье появились Моисей, Пнина, Азарий, Маттаний, Рахиль, Асаф, Эммануил, Аминадав, Элишева. Отца мало заботило, что с подобными именами прожить в России нелегко. Элишаве, например, пришлось потом взять русское имя Елизавета. Другие сначала страдали, затем привыкли.

А 27 августа 1908 года в Москве появилась на свет и я – Суламифь.

В конце концов нас стало восемь: пять братьев и три сестры. И было бы еще больше, если б не умер в младенчестве от голода брат Моисей и сестру Пнину, красоточку и умницу, не погубил в восьмилетнем возрасте менингит.

О Пнине родители часто вспоминали, приводя ее мне в пример. По их словам, она росла очень способной, училась только на «отлично»! Мне запомнился рассказ отца о том, как он, поехав из Вильно в Москву, обещал привезти больной Пнине куклу с закрывающимися глазами. Пнина ждала куклу с нетерпением, представляя ее похожей на себя – белокурой и голубоглазой.

Кукла оказалась брюнеткой. Разочарованная девочка отвернулась и не взяла ее... Не забуду грустный взгляд отца, когда он рассказывал об этом. Но мама, как всегда, разрядила обстановку одним из своих афоризмов: «Все живое рождается маленьким и постепенно становится больше и больше. А горе рождается огромным и постепенно становится меньше и меньше».

Наша няня называла меня «Суламита», и скоро для домашних я стала Мита.

Детей в семье Мессерер рано приучали к самостоятельности и инициативности. В годы революции и Гражданской войны эти качества помогали выжить. Все мои братья и сестры выросли интереснейшими личностями, о каждом я могла бы написать отдельную главу.

В Москве семья долгое время переезжала из одного района в другой. На три летних месяца вывозили детей за город, снимали дачу. Отец не мог себе позволить оплачивать одновременно и квартиру и дачу, поэтому от городского жилья приходилось отказываться, а осенью, когда мы возвращались, брали внаем новую квартиру. Мебель, пожитки уместались в одном фургоне, запряженном парой лошадей. Старший брат любил шутить, что, уезжая на дачу, засыпаешь на Старой Басманной, а вернувшись – просыпаешься на Пятницкой.

Наконец мы осели в доме у Сретенских ворот на углу Большой Лубянки и Рождественского бульвара, в самом центре Москвы.

Булочная Казакова, как раз напротив наших окон, безжалостно манила запахом ванили и миндаля. Мы с сестрой Элишевой простаивали перед витриной, деля в воображении пирожные: это мое, а то твое. Порой так увлекались, что даже ссорились – не поделили. Забывали, что играем... Ну прямо по системе Художественного театра.

Вспоминаются и другие соблазны. Рядом было кино, куда мы бегали поклоняться Вере Холодной и Вертинскому. Неподалеку, на Чистых прудах, гремел по вечерам музыкой, сверкал огнями каток. На коньки я встать всегда мечтала, да не пришлось. Балетным коньки противопоказаны.



Дом моего детства на углу Рождественского бульвара и Большой Лубянки

На вывеске, прибитой у подъезда нашего дома, значилось: «Зубной врач М. Б. Мессерер. Солдатам и студентам бесплатно».

Худо-бедно, с помощью часто ломавшейся, занудливо бормотавшей бормашины отцу удавалось содержать многочисленное семейство, причем большинство детей жили в отдельных комнатах. Восемь детей, восемь комнат в квартире. Вроде бы неплохо для зубного врача по тогдашним московским меркам. Первая комната, направо от входа, – отцовский кабинет.

Впрочем, в карманах у отца бывало «грустно». Вскоре после революции, в пору холодов, разрухи и нашествия крыс, в наших темноватых апартаментах мать подчас руки ломала, не зная, чем накормить ораву.

Поэтому приход к отцу пациента нередко превращался в томительное ожидание всей семьей платы за визит. Едва за посетителем захлопывалась входная дверь, как мать выбегала с неммым вопросом на лице: «Сколько?» А отец, человек непрактичный и сострадательный, часто витавший где-то в высоких сферах лингвистики и философии, случалось, смущенно признавался:

– Бедняк попался. Ничего с него не взял...

Один пациент – в дорогом сюртуке и с очаровательным котенком на руках – в оплату за лечение зубов посулил достать отцу новые ботинки. По тем временам за ботинки люди могли чуть ли не душу дьяволу продать. Отец еще приплатил благодетелю: только неси обувь, ходить не в чем. Посетитель сверкнул добротной залеченными зубами и испарился, как Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес», оставив нам лишь ослепительную улыбку.

Не по летам энергичная и предприимчивая, я однажды кинулась на поиски новых способов экономии. Помню, лет в семь схватила мамин нарядный пиджак и ну щелкать ножницами, кроить из него себе пальтишко – покупать не придется, семье, стало быть, облегчение.

Мама только сделала большие глаза:

– Какая же ты у меня, Миточка, бережливая да предусмотрительная растешь.

В 1918-м отца сочли буржуем и арестовали. Продержав в Бутырке около месяца, выпустили – убедились, что семья вовсе не «буржуазная». Пока отец сидел в тюрьме, я, десятилетняя, решила действовать, чтобы помочь матери.

Нашла дома кусок мыла и отправилась на Сухаревский рынок, под башню, продавать. Стою, подходит ко мне высоченный дядька: «Ты, девочка, мыло продаешь?» – «Да, продаю». – «А сколько хочешь?» – «Не знаю, сколько дадите, сколько это стоит, по-вашему?» – «По-моему, так ничего не стоит!» Взял у меня мыло и был таков. Я пришла домой в слезах. Мама спрашивает: «Почему ты плачешь, дорогая?» Я отвечаю: «Хотела тебя, мамочка, удивить, накормить, и вот что получилось!»

Когда мы приставали к маме с вопросом, кого из нас она больше всех любит, она обычно говорила: «У меня десять пальцев на руках, какой ни порежешь – одинаково больно!»

Но даже утонченную женщину голод мог превратить в каскадера. Во время Гражданской войны, в 1919 году, особенно свирепом и бесхлебном – у нас, детей, пухли животы от недоедания, – мать отправилась поездом за мукой в Тамбов: на юге достать еду, сказали ей, проще.

Маме пришлось ехать пятьсот верст на крыше – в вагонах творилось нечто невообразимое, и в смертоубийственной давке профессиональные мешочники, специализировавшиеся на перевозке дорогого хлеба, могли просто-напросто выкинуть ее из поезда. Спокойная и уравновешенная, мама оказалась к тому же невероятно стойкой и мужественной.

Если теперь случается увидеть краем глаза по телевизору трюки очередного Джеймса Бонда на вагонной крыше, мне всегда приходит на память этот отчаянный, самоотверженный поступок миниатюрной женщины с тонким, восточной красоты лицом.

Мама привезла-таки мешок муки. Мы, восемь чад, остались живы.

Через десять лет, в 1929-м, она умерла от рака.

Как нередко бывает в еврейских семьях, мать являлась рациональным, практичным противовесом отцу – импульсивному, вспыльчивому, подверженному приливам благородного донкихотства.

Мама была очень доброй, никогда нас не наказывала, в чем бы мы ни провинились. Только взглянет с укором и тихо спросит: «Ну хорошо ли?» И от этого взгляда хотелось сквозь землю провалиться. Отец же занимался эффектными педагогическими экспериментами. Ска-

жем, поставит рядом с провинившимся стул и примется яростно хлестать его, стул этот, ремнем. До виновника, конечно, доходило, и он пускался в рев.

Стул, правда, отец порол нечасто, но в угол нас отправлял. Однако он приветствовал в нас дух взаимопомощи. За наказанного разрешалось просить обиженного. «Папа, можно ему (или ей) выйти из угла?» – спрашивал, забывая обиду, пострадавший. Вообще в нашей семье с раннего детства очень переживали друг за друга.

Спустя десятилетия, в Японии, я заметила, что профсоюзные активисты выставляют у ворот тамошних фирм чучела владельцев. Работникам любезно предоставляют возможность излупцевать изображение хозяина палкой. Отведи, уважаемый, душу, открой клапан накопившемуся гневу.

В такой подмене персоны наказуемого неодушевленным предметом мне чудится плагиат педагогических методов Михаила Борисовича Мессерера, опробованных им еще в начале прошлого века. Тебе подражают в Японии, папа!

До старости отца влекло к героическим деяниям. В 1936 году, то есть в семидесятилетнем возрасте, он собрался ехать на арктическую зимовку в качестве зубного врача полярников. Несмотря на все уговоры родных не пускаться в столь опасное предприятие, он твердо решил осуществить свой план. Ни секунды не сомневался: врачевание на льдине – его гражданский долг.

Вся семья всполошилась муравейником, на который плеснули кипятком. Но папа оставался неумолим. Обзавелся полярными унтами, особой шапкой-ушанкой, билетом на поезд до Архангельска. Созвал вечеринку, с чувством обнял нас, уже взрослых к тому времени детей, распрощался с друзьями. Поднял рюмку за власть человека над дикой природой.

Слава Богу, организация, отправлявшая его, не успела подготовить экспедицию к сроку, и северная навигация закрылась. У нас отлегло от сердца, но отец долго переживал случившееся как личную неудачу.

Утешился, когда вскоре женился на молодой женщине, родившей ему девочку Эреллу – Ветхий Завет по-прежнему питал папину фантазию. Дочь была на добрый десяток лет моложе его старшей внучки.

Дочь и внуки самой Эреллы нынче живут в Иерусалиме, на библейской земле, где всю жизнь мечтал побывать отец.

В памяти сохранились отцовское обаяние, его негромкий, но эмоциональный голос, аура его природного артистизма. Думаю, все это во многом повлияло на судьбы моих братьев и сестер, на мою собственную судьбу.

Нашим семейным застольям не чужд был элемент театральности. В религиозные праздники вроде Пасхи, восседая во главе торжественной трапезы, отец напевал молитвы на мелодии, ведомые лишь ему одному. Не уверена, но, по-моему, он импровизировал тут же, за столом, да столь выразительно, что спустя почти девяносто лет я легко вспоминаю и мелодии, и слова.

Однако нам, его детям, передалась от отца не религиозность, а интерес к искусству.

Хотя великосветского салона врач Мессерер не держал, к нему хаживало сначала «по зубной нужде», а потом и просто, по-дружески, немало известных тогда в Москве критиков, артистов, просто любителей театра. Помню среди них профессора Жирмунского и известного певца Сироту. Порой они собирались, чтобы обменяться впечатлениями о литературных и театральных событиях. С отцом их сблизила страстная любовь к театру, вообще к сценическому действию.

Завсегдатай Художественного и других театров, отец часто брал кого-то из нас с собой. После каждого спектакля он запирался в кабинете и обдумывал увиденное, потом нередко перечитывал пьесу или роман, по которому сделана инсценировка, и только тогда сообщал свое веское мнение.

С нами, детьми, он охотно делился мыслями, побуждал пересказывать увиденные спектакли в лицах и даже разыгрывать под его руководством особенно понравившиеся сцены.

Со временем роль семейного режиссера перенял наш старший брат Азарий – впоследствии не только выдающийся актер 2-го МХАТа, но и главный режиссер театра Ермоловой; ставил он спектакли и в других московских театрах. Азарий был старше меня на целых одиннадцать лет. Он первым оправдал фамилию Мешойрер, придя в искусство и открыв дорогу туда братьям и сестрам.

Еще в школьные годы он вызывал у одноклассников истерическое веселье, отвечая, к примеру, урок арифметики голосом учителя географии и наоборот. Естественно, ни тот, ни другой учитель не могли сообразить, почему потолки чуть не обрушиваются от хохота...

Поступлению Азария в студию Вахтангова, известную тогда как Мансуровская (она находилась в Мансуровском переулке), косвенно помог отцовский зубоврачебный кабинет, который посещало армянское семейство, жившее неподалеку. Азарий много и с удовольствием беседовал с мальчишками, ожидавшими очереди на прием, а на вступительном экзамене, проводившемся в два тура, он прочитал крыловскую басню «Ворона и лисица» будто бы от лица армянского мальчика, отвечающего школьный урок. Рассказчик путался, перелагал хрестоматийный текст своими словами, пересыпал сюжет собственными замечаниями... и все это с характерными армянскими интонациями, восклицаниями. Триумф был полный! И даже, кажется, чересчур.



Азарий в «Чудаке» А. Афиногенова

На втором туре присутствовал сам Вахтангов. Азарий заявил монолог из гоголевских «Мертвых душ» – «Эх, тройка, птица тройка...» Только он предстал перед комиссией, как одна из педагогов, Ксения Котлубай, шепнула на ухо Вахтангову:

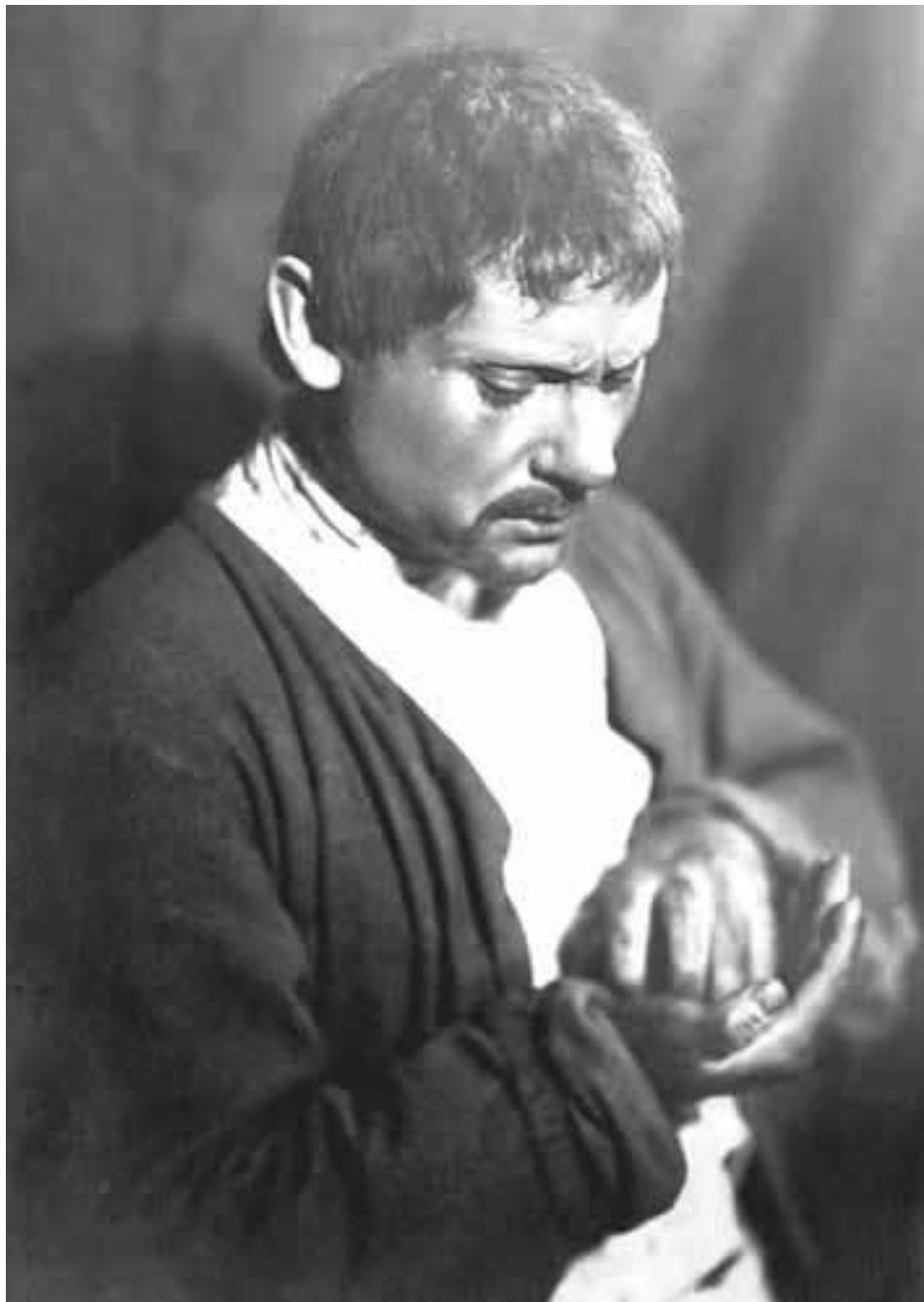
– Парнишка с талантом, да вот беда – слишком сильный кавказский акцент.

И тут Азарий вдохновенно продекламировал отрывок, причем с чистейшим московским выговором.

– А где же?.. – недоуменно развел руками Евгений Багратионович. – Где же его акцент? Мне-то сказали, что он по-русски не очень может...

Брат мог и не такое. Отвоевав юношей-добровольцем в Гражданскую войну на стороне красных, он за свои недолгие восемнадцать лет московского актерства стал вначале звездой

2-й студии МХТ, а потом продолжал блистать на особенно дорогих его сердцу подмостках 2-го МХАТа.



Азарий Азарин в роли Левши

По предложению Вахтангова брат взял сценический псевдоним Азарий Азарин. Вахтангов придерживался принципа: фамилия у актера должна быть простой и звучной, чтобы даже на пожаре никто ее не спутал. Эта идея, шутил он, пришла, мол, ему в голову, когда он узнал, что знаменитый русский актер сменил фамилию Пожаров на Остужев...

Брат мой вырос в Актера с большой буквы. Это понимали не только работавшие с ним режиссеры – Вахтангов, Мейерхольд, Станиславский, Немирович-Данченко. «Я плакал от присутствия на сцене таланта!» – такую записку передал Азарию в сентябре 1927 года другой светлый актерский дар той эпохи – Михаил Чехов. Тогда в зале 2-го МХАТа только что отгремели аплодисменты после дебюта Азарина в роли Левши в «Блохе» по Лескову.

Кстати, именно Чехов предложил юному актеру перейти в эту, выражаясь по-современному, «диссидентствующую» труппу. Азарин согласился стать Санчо в «Дон Кихоте», где Чехов готовился играть самого Рыцаря Печального Образа.

Десятки блистательных ролей брата, в том числе комедийных, вписаны в историю русского театра¹. Азарий Азарин получил редкое в то время звание Заслуженного артиста Республики.

Правда, лавры не прибавили ему солидности. Его, бывало, хлебом не корми, только дай рассмешить до упаду своих друзей-актеров. Часто делал он это, имитируя Немировича-Данченко, Москвина, Лужского и других великих мхатовцев.

Как-то Азарий зашел к директору столичного театра и, разговаривая с ним, все посматривал на портрет Станиславского, висевший в кабинете. Неожиданно он голосом Немировича-Данченко тихо произнес: «У вас, я вижу, на стене кое-кого не хватает...» Директор с перепугу на следующий же день рядом с портретом Станиславского повесил портрет Немировича-Данченко.

Азарий обожал пародировать двух гигантов на репетиции. Его «Станиславский» хохотал словно бы над чем-то, а потом, взглянув на «Немировича-Данченко», замечал: «Не смешно!» – «А я считаю, что смешно!» – мрачно отвечал его воображаемый коллега...

Брат запомнился не только актером от Бога, но и теоретиком. Свою недолгую жизнь он прожил в размышлениях о сцене, об искусстве вообще и, в частности, о самом близком мне – о балете.

Он мог бы стать знаменитым и в кино. Азарий успешно прошел пробу на роль Ленина в фильме «Ленин в Октябре». Исполнение «образа вождя» принесло бы ему невероятную популярность.

Но сняться в этой роли он не успел. В 1936 году – брату только исполнилось сорок – власть закрыла 2-й МХАТ. Это сразило Азария. Он скоропостижно умер от сердечного приступа.

Следующим в нашей семье музы соблазнили брата Асафа. В шестнадцать лет он впервые попал в Большой театр, на «Коппелию», и был настолько очарован увиденным, что решил: балет – его призвание. Асаф поделился своими планами со старшей сестрой Рахилью. Вместе они пошли в школу Большого театра, справиться о приеме. Там Асафу ответили, что в его возрасте обучение пора заканчивать, а не начинать и что принимают туда лишь детей младшего возраста. Это обескуражило Асафа, но он не сдался. Молчаливый и застенчивый, к намеченным целям брат двигался с невероятным упорством.

Асаф поступил в частную студию знаменитого московского танцовщика Михаила Мордкина, партнера Анны Павловой. Поступил, кстати, тайно от отца и матери. Асаф боялся, что они сочтут такое начинание несерьезным. Занимался он безумно увлеченно и, помню, даже дома по ночам повторял экзерсисы... в ванной комнате, дабы не узнали родители.

К счастью, он привлек внимание выдающегося хореографа Александра Горского, пришедшего в студию в поисках талантов для своего экспериментального класса в школе Большого. После революции множество танцовщиков уехало за границу, и балет Большого только возрождался.

Худой бородач в черной толстовке, идол московского балета Горский, увидев Асафа, понял, какой дар попал ему в руки.

– Вот он будет делать движения, а вы повторяйте за ним, – велел Горский классу.

¹ «...Актер блестящего дарования... его игру отличали лукавый юмор, тонкое умное озорство...» (Об А. Азарине, из энциклопедического издания «Русский драматический театр», М., 2001.) – *Прим. ред.*

Я не берусь соперничать с бесчисленными энциклопедиями, балетными монографиями, мемуарами, в которых славят имя Асафа Мессерера. Есть, наконец, его собственные книги. Но как партнерша, протанцевавшая с ним немало лет, как балерина, повидавшая на своем веку блистательных балетных педагогов, скажу: такие таланты редкость.

Смогу ли я описать Асафа? Голубоглазый блондин, пропорционально сложенный, заядлый спортсмен, феноменальная виртуозность техники, чистота линий, благородство позы, стопы с красивым подъемом, что важно для классического премьера, грандиозный прыжок, огромный дар балетного актера, легкость и четкость движений, невероятная физическая выносливость – Асаф был божественным танцовщиком. Танцовщик-первооткрыватель, изобретатель, он, помимо прочего, дал мировой хореографии множество новых, невиданных ранее элементов. История классического мужского танца, думается мне, вообще немыслима без его имени.

Он был также уникальным педагогом. Возможно, мир не смог бы восхититься полным расцветом замечательных балетных дарований Улановой, Васильева, Плисецкой, не занимаясь они долгие годы в классе² Асафа в Большом.

² Речь идет о ежедневных тренировочных классах артистов балета, проводимых педагогом-балетмейстером. Классы в большинстве трупп мира даются по утрам, перед началом репетиций. – *Прим. ред.*



Асаф Мессерер

А одноактный «Класс-концерт», поставленный Асафом, вошел в анналы Большого как один из самых популярных гастрольных спектаклей. С ним театр исколесил целый свет, что неудивительно: «Класс-концерт» – единственный балет, в котором за какие-то полчаса могут продемонстрировать сильнейшие стороны своего мастерства все звезды труппы!

И было в брате еще нечто такое, о чем в монографиях не пишут. Всесокрушающая, необоримая вера в себя, в свое предназначение.

Ну кто, скажите, начинает заниматься балетом в шестнадцать лет? С профессиональной точки зрения в таком возрасте мы – уже застывшая, обожженная временем глина, лепить из которой нельзя. Детское тельце надо готовить к балету лет с восьми, а по мнению иных специалистов – даже раньше.

Верно, до балета Асаф увлекался спортом, был хорошим гимнастом с тренированным телом, и это ему очень помогло. Тем не менее можно считать чудом, что всего через два года занятий балетом «великовозрастного ученика» взяли в труппу Большого театра, а спустя несколько месяцев он уже танцевал там ведущие партии.

Большому он и отдал все, что умел и знал, всю свою жизнь, проработав там больше семидесяти лет. Неслыханно!

...Весной 2001-го праздновали очередной юбилей Большого театра. Речь президента, гала-концерт, исторические экскурсии, цветы, цветы...

Как это замечательно, размышляла я, приобщаясь к праздничной атмосфере по телевизору. Но хорошо ли помнит Большой собственную историю, не увядает ли память подобно юбилейным букетам, когда в них миновала надобность?

Асаф Мессерер. Эта личность сильно повлияла на бытие Большого, благословила на сценический успех целые балетные поколения. Почему бы, подумалось мне, не назвать именем Асафа репетиционный зал Большого театра?

Музы дружили и с моей сестрой Рахилью. До казахстанского Гулага, через который ей пришлось пройти, до гибели мужа она была актрисой немого кино.

В кинематографе она получила известность как Ра Мессерер. Печальные глаза. Гладкая, рассеченная прямым пробором прическа. Чувственные скорбные губы. Миниатюрная, изящная, она очаровывала кинорежиссеров внешностью рафаэлевской мадонны. Для полного сходства так и хотелось дать ей в руки младенца.

И младенец вскоре появился. Дочь Майя.



Ра Мессерер

Потом Ра родила двоих сыновей. Но до этого она успела сняться в главных ролях в десятке фильмов: «Прокаженная», «Долина слез», «Вторая жена», «120 тысяч в год»... В основном это были образы безответно влюбленных женщин-страдалиц. Несколько раз она играла среднеазиатских девушек.

Киношная карьера актрисы Ра Мессерер длилась недолго – лет пять. Страдалицей она оставалась всю жизнь.

Актрисой, правда театральной, стала и Элишева, иначе говоря Елизавета, или, по-домашнему, Эля.

Подобно Азарию, сестра училась актерскому ремеслу в студии Е. Б. Вахтангова. Талантом она обладала природным, живым. Одной из любимейших ее ролей была роль жены ученого Полежаева в пьесе «Беспокойная старость», посвященной Тимирязеву. Передо мной ее письмо той поры: «...Спектакль принимали прекрасно, и меня пришли поздравить за кулисы многие актеры. Роль действительно очень выгодная: единственная женщина в спектакле, не уходишь со сцены от начала и до конца. Много я взяла от мамочки: и грим сделала под мамочку, и улыбка ее, и отношение к папе. Работая над ролью, я все время вспоминала ее жесты, ее интонации...»



Елизавета Мессерер – в роли Горностаевой

Архивы театров Завадского и Ермоловой хранят память о незаурядных работах сестры. Скажем, роль Анфусы в «Волках и овцах», беспризорника в «Ваграмовой ночи», тетушки

Вильямс в «Ученике дьявола», Горностаевой в «Любови Яровой». Зритель ее заметил, зритель ее запомнил.

И КГБ тоже. В архивах этого ведомства наверняка сохранились «оперативные разработки» о том, как чекисты пытались склонить Элю к доносам на партнеров по сцене. Будешь стучать на своих – сделаем так, что ролями, режиссерской благосклонностью тебя не обойдут.

Эля отказалась. Ее вытолкнули из Театра имени Ермоловой. Она с мучениями восстановилась. Ее снова заставили уйти. В общем, увольняли раза четыре, пока окончательно не сослали на пенсию – нечто равносильное гражданской анафеме.

Актриса, у которой отняли профессию... Эля надломилась.

В 1963 году она умерла от рака.

Когда балет очаровал мою душу?

Возвращаюсь мыслями в памятный крещенскими морозами 1920-й. В то прекрасное зимнее утро, когда сестра Ра крепко взяла меня, одиннадцатилетнюю, за руку и повела в балетную школу Большого театра.

Поступать!

Азарий Азарин – старший брат напутствовал младших – решил, что я вполне могла бы повторить успех Асафа, к тому времени проучившегося балету уже год: «У Асафа получается, да еще как. Почему бы тебе не пойти по его стопам?» Несмотря на вопросительную интонацию, это больше походило на утверждение. Он явно считал: одного балетного в семье мало... Однажды Азарий узнал, что в хореографическое училище срочно объявляется дополнительный прием, и рассказал об этом Рахили. Она к тому времени уже взяла на себя множество обязанностей часто болевшей мамы, и младшие слушались ее беспрекословно.

Мы с Элей отдыхали тогда в так называемой зимней детской колонии – нечто вроде будущего пионерского лагеря. Рахиль вместе с нашим семилетним братом Нулей (Эммануилом) поехали за мной. Заблудившись, они только к вечеру отыскали нашу колонию, поэтому возвратились мы в Москву совсем поздно.

Всю дорогу я надоедала Рахили, твердя, что без балетной пачки на прием в школу не пустят. «Ничего, я что-нибудь придумаю», – успокаивала меня Ра. Действительно, дома, к счастью, оказалась драгоценная марля, и всю ночь она шила, крахмалила и гладила пачку. Утром меня торжественно облачили в это самодельное творение, нацепили на голову огромный красный бант, одели-обули в выдавшее виды пальтишко, валенки и повели в школу Большого, на Пушечную улицу, дом 2.

...С той снежной тропки на Пушечную и начался мой балетный путь. Он продолжается уже больше восьми десятков лет.

Школа тогда лишь недавно открылась после революции.

У нас, ребяташек, от холода зуб на зуб не попадал. У сидевших в приемной комиссии – тоже, но они держали фасон. Василий Тихомиров, Иван Смольцов и Александр Горский, руководившие московским балетом, были преисполнены значимости момента: как-никак набор учеников в эпоху диктатуры рабочих и крестьян. «Дирижировал» церемонией директор школы Гаврилов, в прошлом танцовщик Большого. Совсем лысый. Мне казалось, совсем старик.

Заслышав свою фамилию, я шагнула вперед.

«Сними-ка, девочка, валенки, покажи ножки», – попросили меня. Ножки признали неплохими. Потом проверили музыкальный слух и быстро закруглились, поскольку и мы замерзли, и комиссия закончила. Гаврилов выстроил «новобранцев» по росту: «Ты пойдешь в первый класс, ты – во второй...» Меня почему-то зачислили в третий, наверное, потому, что я была чуть старше других. Определили к педагогу Вере Ильиничне Мосоловой, рыжеволосой даме, которую мы поначалу побаивались: ну строга...

Она жила рядом с Большим, в доме, где обитал и Горский, и давала частные уроки в собственной квартире. Теперь на месте того дома – Новая сцена Большого театра.

Платили мы Мосоловой за уроки... дровами. Хочешь арабеск у себя поправить, отшлифовать – это тебе обойдется в два полена, а вот пируэт, пожалуй, уже в четыре. А там и до вязанки недалеко... Зато занимались, ясное дело, в тепле. Квартира отапливалась огромной печкой и была густо уставлена антикварной мебелью красного дерева. За исключением одной комнаты побольше, с зеркалом, где Мосолова и делилась с нами своим представлением о том, какой должна быть балерина Большого. Причем нам удавалось обходиться без станка. Его вполне заменяли спинки стульев.

Первое время Вера Ильинична называла меня в школе не иначе как «эта девочка со странным именем», в чем мне чудилась пренебрежительность. Дома я ежевечерне плакала по этому поводу. Старшая сестра считала, что Мосолова не просто не желала утруждать себя, запоминая мое необычное имя, но и выказывала неприязненное отношение к иудейскому Суламифь.

Видимо, сестра ошибалась: довольно скоро я стала любимицей Мосоловой в классе – уж очень старалась, и она превратила меня обратно в Суламифь, а затем и в Миточку.

В качестве «школьной формы» для занятий балетом в училище полагалась опять же белая пачка из накрахмаленной марли. Но в Москве тех лет легче казалось найти какую-нибудь расшитую жемчугом персидскую парчу, чем прозаичную марлю: Первая мировая и революция опустошили ее запасы – все поглотили госпитали. Тем не менее дирекция Большого где-то ухитрялась добывать драгоценную марлю. Крахмалили и шили мы сами. В пачках щеголяли девочки, а мальчиков одевали в бриджи ниже колен, гольфы и белую рубашку.

Мужчины в трико тогда не занимались. Появиться в трико или даже лосинах на сцене, не надев поверх пусть короткие, но штаны?! Это сочли бы крайне неприличным. Трико без «шорт» у танцовщиков в России допустили только в конце 50-х годов.

Спасибо еще, что в мое время от балерин уже не требовалось заниматься и танцевать в корсетах и лифах, бронированных металлическими пластинами шириной в сантиметр, как раньше.

Учились мы и балету, и общеобразовательным предметам. И тому, и другому, между прочим, – на голодный желудок. Выдавали нам осьмушку черного хлеба на рот. Помню, в те дни приехал кто-то к маме в гости из Украины и привез батон белого хлеба. Дает нашему младшему братишке кусочек. А тот, вытаращив глазенки, брезгливо так: «Я этого не ем!» – он в жизни не видел белой булки.

Между тем учеба захватывала нас, отвлекая от постоянного чувства голода. Всем занимавшимся в те годы в школе Большого запомнился Владимир Рябцев, преподававший искусство грима, а главное, мимику. Сам потрясающий мимический актер, он учил нас растягивать лицо, превращая его в греческую маску то радости, то горя, управлять губами, бровями, каждой жилкой.

И это считалось страшно важным. Содержание балетных спектаклей сплошь и рядом пересказывали тогда по ходу действия условными жестами. «Я – ты», «богатый – бедный», «пошел туда – пошел сюда», «я тебя люблю», «сегодня, вчера, завтра» – для всех этих, да и прочих понятий существовали особые, навечно закрепленные движения и мимика.

От долгих пантомимных эпизодов зрителя порой клонило в дрему. Публика такого языка глухонемых чаще всего не понимала. Зато его знали хореографы, знали заядлые балетоманы. И прежде всего должны были знать мы, артисты, чему и учил нас в полную меру своего уникального дара Владимир Рябцев.

Он, ко всему прочему, обладал прекрасным чувством юмора. Не могу забыть его в партии Марцелины, женского персонажа комического балета «Тщетная предосторожность», в котором

позднее состоялся мой дебют. Марцелина порхала по сцене все три действия, женственная до кончиков ногтей, кокетливая, хитрющая, и зрители умирали со смеху.

А его интерпретация Иванушки-дурачка из «Конька-Горбунка» была такой органичной, словно он сам всю жизнь на чудо-печке разъезжал.

Посмотреть со сцены в зрительный зал мне удалось в первый раз в 1921-м. Режиссер Александр Санин ставил тогда оперу «Кармен», и ему понадобились дети для первого акта. Среди них оказалась и девочка со странным именем Суламифь.

Потом, в том же году, а может, годом позже, меня ввели в «Корсар» в довольно драматичной роли. Тот самый Владимир Александрович Рябцев играл Евнуха и по сюжету намеревался отравить, негодяй, Екатерину Васильевну Гельцер. Причем отравить моими руками. Он вручал мне ядовитый букет цветов, с которым я шествовала через всю сцену, чтобы подарить его Гельцер, танцевавшей партию Медоры, героини балета.

Губить героиню мне было ужасно жалко. Я чувствовала – эта балерина не такая, как все! Она танцует в некоем пространстве, возвышаясь над остальными... В тот момент своей детской головкой я еще не осознавала того, что пойму позднее: Екатерина Васильевна танцевала мощно, ураганно... гениально.

Ее партнером в «Корсаре», да и в других спектаклях тогдашнего репертуара выступал Василий Дмитриевич Тихомиров. Хоть и высокого роста, он к тому времени несколько расплылся, и меня, бывало, щекотала на сцене смешинка: ай да герой у нас, что-то грузноват! Но танцует, правда, отлично.



Е. В. Гельцер

Еще в том «Корсаре», помнится, были заняты Иван Емельянович Сидоров, тогда уже тоже немолодой, но замечательный артист, и Лев Александрович Лащилин, красавец-мужчина, глаз не отвести.

Лет в четырнадцать я танцевала Амура в «Дон Кихоте». В главных ролях выступали опять же Гельцер и Тихомиров (или, иногда, Леонид Жуков), в роли Уличной танцовщицы – Любовь Банк, а в роли Мерседес – Мосолова.

Выпускалась из школы я как раз у Василия Тихомирова, о чем расскажу чуть позже.

А сейчас забегу на десятилетие вперед, когда Москва уже прознала про артистическую когорту Мессереров – трех сестер и двух братьев, своеобразный «семейный подряд» в искусстве. В моем архиве сохранился кусочек картона – пригласительный билет.



В. Д. Тихомиров

«Уважаемый товарищ! Совет Клуба мастеров искусств приглашает Вас на вечер семьи Мессерер. Вступительное слово – Я. О. Боярский. Участники вечера: засл. арт. А. М. Азарин, засл. арт. А. М. Мессерер, Е. М. Мессерер, С. М. Мессерер, Р. М. Мессерер. Начало в 12 часов ночи».

15 января 1936 года. У здания 2-го МХАТа на площади Свердлова (ныне по-старому Театральной) – толпы театралов. Помню у входа лоснящиеся лошадиные крупы – блюсти порядок вызвали конную милицию...

В ту ночь игрались сцены из шекспировской «Двенадцатой ночи» и афиногеновского «Чудака» с участием Азария и Елизаветы, мы с Асафом танцевали *па-де-де*³ из «Дон Кихота», на экране крутили отрывки из фильмов, в которых снялась Ра.

Но самый большой успех достался... нашему отцу. Зал устроил ему, истинному «виновнику» торжества, овацию.

Я иногда думаю: все же почему нас так мощно и дружно бросило в объятия муз? Да, артистизм отца. Да, атмосфера игры, лицедейства, пересмешничества в семье...

Но существовала еще одна причина. Время. Первые годы после революции. Можно справедливо проклинать те кровавые годы. Однако никто не разуверит меня в том, что это было и время романтики, светлых ожиданий, ощущения того, что новый, лучший мир распахнул перед тобой свои врата.

Мне скажут: иллюзия! Что ж, иллюзии тоже сдвигают горы... Во всяком случае, в доме у Сретенских ворот, в квартире зубного врача Мессерера его дети верили: им отныне доступно все, для них все возможно. Только дерзай. Делай лучше других, шагай шире других, старайся больше других.

Не аскетизм ли быта, не каждодневные ли поиски хлебной корки заставляли наши души тянуться к возвышенному?

Поэзия, что называется, росла на камнях...

Любовь отца к искусству передалась всем нам, его детям, хотя не все занимались им профессионально.

Помните, мой старший брат Азарий Мессерер взял сценический псевдоним Азарий Азарин? Вторым же по старшинству в семье был брат Маттаний. Ученый, профессор, в молодости истовый большевик, он, находясь далеко от Москвы, придумал себе партийную кличку Азарин в честь брата Азария. Таким образом, оба брата, не стовариваясь, сделались почти одновременно Азариными – невероятное совпадение.

Маттаний стал, пожалуй, самым образованным в семье. Рано проявил недюжинные способности к наукам и литературе, поэтому отец послал его в гимназию во Франкфурт, где жили родственники. Маттаний в совершенстве овладел немецким. Увлёкся поэзией, писал стихи на русском и на немецком. Увлёкся он и идеями большевизма.

³ Па-де-де – «танец вдвоем», па-де-труа – «танец втроем»: формы классического танца. В балете традиционно используется французская терминология для обозначения форм танца и отдельных движений (па) танцовщиков, например фуэте, па-де-бурре, арабеск и пр. – *Прим. ред.*



С братом Маттанием

Куда только не бросала его судьба! Окончил еще и коммерческое училище и поехал к своему однокласснику в Красноярск. Там его настигла Гражданская война, в водовороте которой он чудом уцелел. Попал в плен к колчаковцам. Ожидалось наступление красных, а с пленными в такой ситуации поступали однозначно: расстрел.

Конвоир привел его в походную комендатуру, на второй этаж, и посадил к стене, но не связал. Сидит он в ожидании своей участи. Вдруг из соседней комнаты вываливается группа

солдат, жесточно спорящих о чем-то. Спор переходит в потасовку, за которой с интересом наблюдает конвоир. Улучив момент, Маттаний выскальзывает из комнаты, спускается вниз и, подойдя к часовым на дверях, небрежно просит у них закурить. Обменявшись с ними парой слов, он не спеша выходит из ворот и, только завернув за угол, бросается опрометью. Его спрятали подпольщики. (Тогда-то он и берет себе партийную кличку – Маттаний Азарин.)

Судя по тому, как Маттаний бежал из-под стражи, у него тоже имелись актерские способности и самообладание.

К концу Гражданской войны, несмотря на его молодость (двадцать с небольшим), красные назначают Маттания сначала ответственным секретарем партийной газеты Хабаровска, а затем председателем хабаровского горкома. Тут он разочаровывается в большевизме... первым в нашей семье...

Брат переезжает в Москву, где заканчивает институт, защищает диссертацию и становится профессором экономики. А в 1938-м Маттаний стал жертвой тогдашней шпиономании, борьбы с «врагами народа», на которую удалось мобилизовать... его собственную бывшую жену.

Эта дама прежде пыталась «накрутить» его против нас, родных. Не вышло. Помню слова мужа моей сестры Ра: «Фобия родственников – симптом паранойи!»

Тогда ревнивая дама сочинила на Маттания политический донос в органы, чтобы отомстить ему и заодно нам. Развелся с советской женой? Тоже, значит, враг народа.

Маттания арестовали, пытали, как принято. Заставляли день за днем стоять на опухших, превратившихся в колоды ногах. На них он и прошаркал пять лет в трудовом лагере. Из советского Гулага сбежать было куда труднее, чем от белых.

Он вышел с тяжелой формой туберкулеза и вскоре умер. Еще один обрубок на нашем родословном древе, оставленный годами сталинского культа.

Следующий по возрасту после меня – Эммануил. Мы его звали Нуля. По профессии инженер. Из всех братьев его я особенно любила. Пишу о нем коротко, так как прожил он только тридцать лет.

...Самое начало войны. Москвичи несут вахту на крышах: тушат немецкие зажигательные бомбы, забрасывая их песком. В ту ночь Нуля, уже отдежуривший накануне, вызвался заменить своего тестя на крыше дома по Садово-Кудринской, напротив детской больницы Филатова. Германский бомбардировщик целил в больницу, но угодил в дом, где дежурил Нуля.

Бомба оказалась не зажигательной, а фугасной...

Моим братьям Асафу и Аминадаву выпала страшная миссия. Они помогли экскаваторщику разгрести руины того дома. Грохочущий экскаватор сдвинул обломок, и братья увидели руку. Тонкие знакомые пальцы пианиста-любителя, сжатые в последней судороге. Рука Нули... Ей не ласкать любимую, она не шлепнет сына, не поднимет бокал на юбилее отца... Потом откопали по частям тело. Опознали по паспорту в кармане.

Сейчас, когда пишу эти строки, в живых из нашей «великолепной восьмерки» братьев и сестер Мессерер остались я да Аминадав, по-простому Александр. Инженер-электрик, человек скромнейший, с щедрой, сострадательной душой, он посвятил себя служению всем нам, в особенности сестре Рахили, к которой привязался, как к матери. Ведь он лишился мамы в тринадцать лет.

Александра тоже не обошла его доля лиха. В конце сорок первого Москву отчаянно бомбили, и он увез за город, подальше от бомбежек, своего сынишку, шестимесячного Бореньку. Но прилетел фашистский самолет и сбросил именно над той деревней несколько бомб. В избу ни одна бомба не попала. Лишь одна разорвалась в саду неподалеку. В Боренькину комнату влетел только один осколок и прямо ему в голову. Похороны, похороны...

Я окидываю взором наше родословное древо, прикасаюсь ладонью к его ветвям. Какое оно буйное, открытое солнцу, раскинувшее крону над многими континентами! Но сколько же на нем ран, нанесенных жестокими временами и людьми.

В 1926 году я заканчивала свои «шесть лет у станка» под крылом Василия Дмитриевича Тихомирова, который слыл хранителем и продолжателем московской школы классического балета.

Критики до сих пор не устают скрещивать перья в сравнительном анализе московской и петербургской школ, рассуждая о различиях между ними и подчас упуская из вида, что время и большие артисты стирают такие различия.



Семья Мессерер. Сидят: Нодик, мама, папа, Рахиль, Эля. Стоят: Эммануил, Азарий, Асаф, Маттаний и я

Тихомиров, думаю, являл собой ярчайший пример, символ синтеза двух школ. В пятнадцать лет мальчика Васю, ученика московского училища, отдали на два года замечательным петербургским педагогам Христиану Иогансону и Павлу Гердту, то бишь первому Принцу самого Петипа. Кому-то пришла в голову светлая мысль: пусть талантливая юность окунется в другой творческий источник.

Даже не в самые молодые свои годы Тихомиров продолжал демонстрировать на сцене безупречную чистоту и точность техники – ну прямо гляди на его выступление и изучай методику классического танца!

Вот и на своих уроках Тихомиров-педагог педантично следил за аккуратностью исполнения, за строгостью форм и линий.

И конечно, требовал технического совершенства. Скажем, в его классе ценился элемент, называемый заносками⁴. Заноски, без сомнения, дают ногам силу, ловкость. Между прочим, наблюдая в последние десятилетия за звездами мирового балета, я с горечью вижу: подчас заносками они не владеют, на них не воспитаны. Выходит, какие-то интересные, красивые компоненты балетной техники просто умирают. Но это к слову.

⁴ Группа прыжковых движений, усложненных занесением одной ноги за другую. – *Прим. ред.*



Василий Тихомиров

Из известных в будущем солистов со мной учились Александр Царман, еще в школе удивлявший прыжками, как мы говорили, «под колосники», и Тамара Ткаченко, немножко круп-

новатая для классической танцовщицы, но талантливая до такой степени, что Горский, работая с нами, учениками, специально ставил на нее классику. Ткаченко получила известность все же в характерных ролях и позднее стала профессором на кафедре характерного танца. Другая моя одноклассница, Вера Васильева, запомнилась мне несказанной красавицей. Сложена божественно, дивной формы ноги, необычайно крутой подъем. А личико – точно с живописного портрета Тропинина.



Наш выпуск. 1926 год

Сразу после окончания школы наша Вера взбаламутила Большой настоящей сенсацией. Вышла замуж за Касьяна Голейзовского!

Ей только исполнилось девятнадцать, а Касьян Ярославич казался нам этаким динозавром из прошлого. «Идет за старика. Попала под гипноз таланта», – шептались мы по углам. Ведь Голейзовскому было «аж» тридцать семь лет! Успокаивало лишь то, что экзотический брак созрел на глазах у родителей Веры – ее отец играл в оркестре Большого на скрипке, мать служила хористкой.

Когда «Бахчисарайский фонтан» Ростислава Захарова переносили в 1936-м из Ленинграда в Москву, партию Марии в Большом должна была танцевать тогдашняя прима Марина Семенова. Вот уж действительно прима из прим, заполнявшая собой все пространство от кулис до кулис. Пронзительно индивидуальная балерина, взрывное, грандиознейшее дарование. Но все же увидеть в ней Марию? Явный режиссерский просчет большого мастера...

Семенова наверняка оказалась бы великолепной Заремой, но ее вынудили танцевать Марию, поскольку эта партия слыла в «Бахчисарайском» первой, ведущей. Словом, роль для примы.

За несколько репетиций до премьеры в Москве несовпадение индивидуальности Семеновой с образом стало очевидным. Тогда Марию отдали Вере Васильевой. И Вера, помню, справилась в высшей степени достойно. По-пушкински нежная, она вплотную приблизилась к уровню Улановой, на которую изначально ставилась партия Марии.

Итак, 1926 год стал для меня рубежом между ученичеством и балетом как профессией, призванием, главной радостью жизни.

На сцене Большого театра прошел наш выпускной экзамен. К нему, кстати, никого из учениц особенно не готовили, правда, на нас надели красивые пачки. Тихомиров задавал комбинации, как это происходило в ежедневных классах. Такая довольно спокойная атмосфера, несмотря на то что комиссия сидела в зрительном зале. Сдавать на сцене было трудно, вернее, непривычно. Тем не менее мы все как-то справились. В тех пачках нас потом и снял – уже в школе – специально приглашенный фотограф.

Из школы была протоптана одна тропа – в кордебалет. Но все мое существо, не лишенное амбициозности, восставало и возмущалось.

«Не согласна! – вела я сама с собой ночные споры. – Топтаться в кордебалете? Каким-нибудь тридцать вторым лебедем?! Нет уж, увольте. Это не по мне. Я должна стать солисткой и стану!»

Правда, самовнушений, даже столь решительных, оказалось мало. Вакансий в Большом не нашлось даже в кордебалете, и нас взяли на «разовые». То есть платили сдельно – за каждое выступление в спектакле. Объяснение давалось следующее: вы, мол, девочки, потерпите, наберитесь опыта, техники, а там, глядишь, и вакансии появятся... Дома был холод и голод, и я думала о том, как бы мне скорее начать зарабатывать. Старалась найти себе работу.

Под боком собственно Большого театра, напротив теперешней Новой сцены, располагался тогда его филиал – в здании бывшей оперы Зимина, где сейчас Оперетта. Мы, девочки на «разовых», выступали, по сути, во всех спектаклях на обеих сценах.

Скажем, в воскресенье оттанцуешь утренник в Большом и бежишь на утренник в филиал. То же повторяется и вечером. Выходит, в день у тебя четыре спектакля. Так что заработок у нас получался хоть и небольшой, но порой лучше, чем у кордебалета.

В то время в кинотеатрах имелась маленькая эстрада с пианино для тапера. Перед сеансом часто устраивались концертники, и на этих крошечных площадках я танцевала, раза три-четыре в день, для публики, ожидавшей начала фильма. Зарабатывала немножко денег. Приходила домой и отдавала маме. Танцевала я номер, поставленный мне Асафом именно на такой случай: «Чардаш» на музыку Монти, который я очень любила, – бравурный характерный танец на каблуках.

К тому же скоро вошло в моду угощать делегатов разного рода совещаний райкомов, обкомов «художественной частью». Позаседал, товарищ, – вот тебе культурный досуг.

В «Чардаше» Монти я выбегала на сцену в венгерской жилетке, короткой юбчонке, красных сапожках и с венком на голове. Обжигающая дробь каблуков неизменно вызывала у партийно-профсоюзного аппарата восторженную дрожь. На аплодисменты не скупились.

Артисты с концертным репертуаром оказывались нарасхват. Особенно во времена нэпа. Я выучила другие номера и получала много предложений. Порой металась меж концертами, не переводя дыхания. Число их доходило, с ужасом вспоминается мне, до восьми за один вечер! Стахановство в балете, да и только...

Бывало, умоляешь кого-нибудь из артистов: «Пусти выступить вместо тебя пораньше – на другой концерт не поспеваю...» Такси тогда не существовало, скакали на своих двоих, ехали на извозчике или на трамвае. Иногда прямо в гриме, а то и в танцевальном костюме. Не в пачке, конечно, – на нее пальто не накинешь...

Ударный труд на пуантах часто оплачивался натурой. Помню годы, когда я с благодарностью принимала в качестве гонорара, к примеру, пакет сахара, бутылку масла. Однажды, выступая с Асафом, мы получили кило гвоздей и галоши в придачу. Чем именитее балерина, тем больше пар галош ей причиталось. Хочешь – экипируй на осень всю семью. Хочешь – обменяй на рынке опять-таки на съестное.







Концертные номера. С Александром Проценко



В «Узбекском танце»

Тем временем множились разного рода импресарио. Зазывали в дальние дали. Скажем, пожалуйста в Серпухов, тамошний зритель истосковался по настоящему искусству, жаждет балета.

Хорошо, едешь в Серпухов на поезде, трясешься туда-обратно часов шесть, танцуешь, едва живая. И что же? Импресарио улетучился вместе с твоим гонораром. Обычная история.

В концертах я выступала, конечно, не только во время нэпа, но и до конца своего исполнительства. По таким концертам мы разъезжали более-менее сложившейся компанией: театральные актеры Хенкин, Рина Зеленая, Образцов со своими куклами, певицы Барсова, Русланова.

Мой любимый и постоянный аккомпаниатор тех лет – Давид Ашкенази. В своем кругу мы его звали Додик.

Однажды Додик приходит ко мне уточнить купюры в нотном материале. Захватил с собой жену и сына Володьку. Будущему знаменитому пианисту и дирижеру Владимиру Ашкенази было тогда пять с половиной лет.

Мы болтаем, пьем чай с кусковым сахаром – дробить его надо щипчиками, а то зубы испортишь, – а на рояле стоит раскрытый клавир «Щелкунчика». И вдруг вижу я, что пятилетний мальчишка вскарабкивается, посапывая, на стул и начинает бегло играть «Щелкунчика» прямо с листа!

Я обомлела. Хватаю Володьку за руку и тащу через лестничную площадку к дирижеру Большого Юрию Файеру.

– Настоящих вундеркиндов видали? Вот полюбуйтесь.

– Ну, вечно у тебя гении, – ворчит Файер, намекая на мою постоянную «рекламу» своей юной племяннице-балерине, Майе.

Тем не менее Файер усаживает Ашкенази-младшего за инструмент и ставит перед ним ноты:

– Разберешь потихоньку?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.